

**повреждения
от
прекрасного
повесть**

I

август. чернеющая крыша сиротского дома немного плывет, и это накрывает. Дети, как ужаленные, бегают и централизуются около горки раз в несколько минут, потом снова разбегаются. Воспитательницы курят в специально отведенных местах и одобрительно кивают друг на друга, неодобрительно на детей и опять друг на друга.

С четвертого этажа движение детей, броуновское, кажется не осмысленным, но подчиненным чему-то негласному, не знаю, такое ли оно снизу, с высоты их неокрепших мордочек, — не знаю, мне неинтересно.

Несколько безучастных детей в вязаных беретиках стоят не в специально отведенных местах, но появляющихся спонтанно, как грибы. Те самые места для наблюдателей и завистников, они играют в палочки, смотрят себе на руки, куда-то в небо или, если их больше одного, друг на друга. Им бы хотелось присоединиться к обще-

му безумию, что существует с позволения кивающих старушек в брезентовых пальто, но это категорически невозможно. Эти несколько сиротин еще больше сиротины, чем все остальные. Но это тоже абсолютно неинтересно.

Я стою курю. Маленькая девочка с очень взрослым лицом дышит мне под свитер. Она, как животное или ребенок, залезла между мной и шерстью, что уже распускается, и дышала в спину.

Мы где-то в районе Сокольников, железная дорога иногда гудит.

Девочка со взрослым лицом выползает из-под свитера. Становится холодно. У меня очень влажная спина. Она садится на тахту около окна и смотрит.

Она втыкает в пространство так, будто оно что-то значит, будто так понятней, где она и зачем. Она все время жует сухие салфетки и ничего не делает кроме.

Я вообще не понимаю, на что она живет, чем зарабатывает и, более того, сколько ей лет.

Глаза будто все время в формалине, а мозг туманный, но твердый, как лес. Можно ходить сколько хочешь и елки жевать.

Было часа четыре дня. Мы встали недавно.

— Сколько мы уже здесь дней? — спросил.

Помню, зачем ехал в Сокольники. Вот когда писала, она вроде бы издевалась. Мол, давай, сможешь ли не приехать. А я не могу. У нее из-за сколиоза зад отклячен все время, — беспардонно вообще любое ее действие, включая разложение на диване, сворачивание фольги и так далее, беспардонно и привлекательно до одури.

— Дня три.

Мы практически не выходили, не предохранялись и думали только о том, что это не способно закончиться.

Сигареты сушили.

Пошел на кухню, искать фильтр. Поскольку ночью у нас кончилось практически все, то проснулся я относительно трезвым, руки тряслись слегка, в голове облачность, член свернулся калачом и плакал.

Фильтра не было, пил из крана. Хотелось блевать. Окна запотели. Я присел на пол около параши и обнаружил, что вены на руках вздулись. Началась отмена.

— Галя, у нас отмена! — кричу девочке с большими глазами и взрослым лицом.

— Пока только у тебя, — слышу из коридора, и начинает немножко трясти. Видимо, ей не смешно.

Я достаточно часто ощущаю турбулентность и трезвым, просто потому, что так устроен человеческий организм.

Я чувствую свое лицо в чьих-то руках, и это больше не мое лицо, но продолжение чьих-то рук и вот теперь чьих-то губ и шершавого языка. Я не понимаю, хочу ли я ее целовать, но поздно, — уже трахаемся. Задница мнет линолеум на полу кухни. В правом верхнем углу стоят иконы.

Почему-то легчает, но тянет уснуть прям здесь, с ее руками на шее. Без свитера и трусов.

Во всей литературе не существует адекватно описанных сцен секса, потому что текст сам по себе отрицает все телесное, кроме потовыделений, как символа труда и напряжения. Какие-то руки, ноги, сеновал, иногда церковь, иногда просто отвратительные описания с урока биологии за седьмой класс. Ничего, вообще ничего не говорит человеку, куда ему смотреть и как себя чувствовать, при-

подыматься ли ему на носочки, щелкать ли пальцами, шевелить ушами. От огромной любви или от безысходности, поднимать руки вверх, сдаваться. Сидеть.

Чувствовать себя как?

— Моя мать патологоанатом, я знаю, что делаю, — говорит девочка с большими глазами и взрослым лицом и шевелится в такт форточке, которая по причине взаимосвязанности всей мебели в старых советских квартирах открылась и стучит, ибо под весом потной поясницы проминался пол. Девочка начинает шевелиться быстрее, ее лицо статичное и постное, как хлебцы из пшеницы. Форточка стучит быстрее и в какой-то момент разбивается, я не успеваю снять ее с себя, она обхватывает обеими руками мою шею и прижимается.

— Все будет хорошо, я почти не фертильна.

— Нефертити, — глотаю сухую, как халва, слюну, — принесу тебе «женале», — пытаюсь поднять ее с себя и встать.

Вспоминаю Каир. Я, мой молодой папа трогает рукой какой-то камень. Везде есть камень, который исполняет желание, даже на площади Революции. Он стоит, задумался. «Папа, папа, что ты загадал?» Обычное ответил что-то. Про семью, про бизнес. Иногда мне кажется, он не человек, он многолетнее дерево, ведающее все ужасы и радости мира и знающее: ничто не приводит к большому удовлетворению, чем жизнь для счастья ближнего и его благополучия. Обвесить себя обязанностями, которые легко выполнять, и не думать о том, чтобы менять мир, — вот это предел, который достигается, если не чунеть, наверное.

— «Женале»? Ты меня за кого держишь?

— За почти фертильного человека. — По лбу течет тонкая струйка теплого пота. — Моя мать не патологоанатом, но все точно должно быть хорошо?

— «Постинор» уж хотя бы, — говорит девочка со взрослым лицом, абсолютно голая у разбитой форточки.

Берегла бы ноги, они у нее красивые. Кривые правда, но красивые.

В аптеке стояла бабушка и маленькими порциями отсчитывала мелочь. На улице свистел ветер и шатался огромный тополь. Разорвет ли на части тазовую кость маленькой девочки с большими глазами гипотетическая новая жизнь, случайно в ней оказавшаяся. Скорее всего.

Я покупаю «Постинор», заикаюсь и говорю женщине в окошке очень быстро. Она меня сильно осуждает. Я не вижу глаз, но уголки рта, презрительно треугольные, настолько сжаты, что лопнет, того гляди.

Кончай ты или не кончай, все равно останешься скотиной, если никого не любишь. В глазах общественности и Надежды Кислюк, фармацевта.

Я посмотрел дату, время, прочитал несколько сообщений от матери, сидя на скамейке около третьего подъезда, киргиз курьер тыкал в домофон как-то очень настойчиво. Насколько же я привык к этим человечкам в желтых костюмах.

Мама пишет что-то вроде «Как дела? Как учеба? Как Катя?». А никакой Кати уже нет чуть меньше года. Она где-то там сидит и тихо меня ненавидит. Как же она меня, наверное, ненавидит.

Захожу в квартиру, лупоглазая сидит на полу, зенками измеряет пустоту, зад, естественно, отключила до неприличия красиво.

— На вот. Постной роже — «Постинор». А я поеду.

— Куда?

— В Печатники, наверное.

— Печально.

— Печальники.

Беру портфель, оставляю ей, большеглазой, несколько сигарет и еду.

От Сокольников можно по Большой кольцевой добраться до Печатников, пересестъ на загадочный автобус и ехать до водохранилища. Там стоит Николо-Перервинский монастырь, около плотины.

Розовело небо, и измученно брели какие-то тюрки вдоль улицы, я с портфелем потел в рубашке. Еще трясло. Аптека, «Мир интима» и «Чайхана номер один», затем несколько парикмахерских — супермен, Ангелина и магазин «Авокадо». Если задуматься, что какой-то мужичок или тетенька открыли вот на последние деньги в третьесортном районе Москвы парикмахерскую и назвали ее «Ангелина», то становится странно и удивительно, какое количество способов имеется, чтобы уничтожить свою жизнь.

Хороший район, светлый.

Звоню маме.

— Ты куда пропал, малыш? Мне сон снился, что ты сидишь весь в воде и говоришь: «Вот, мама, смотри, где ты меня оставила», какой-то худой болезненно, прилизанный.

— Я не знаю. Не пропадал вроде бы. Не видел сообщений. Все хорошо. Иду в монастырь.

— Ага-сь, фотку скинь, пострига. Ну ладно, давай, у меня ботокс.

Печальники, однако, холмистые, я взмок, пытаюсь дышать полной грудью. Откуда столько счастья в людях вообще, чтобы на солнце смотреть и жмуриться, улыбаясь?

Тоненькая полоса света осталась где-то на горизонте, тяжелые тучи затянули, я поднялся на выступ около водоема. Такая квадратная бандура, с арматуринами по периметру, сел, гляжу.

Если смотреть на полосы, разделяющие пространство, типа дорог, рек, лесопосадок, то становится понятно, откуда в человеческой голове возникает страх ближнего, дальнего — да любого. Что, если он оттуда, с той стороны реки, дороги, вдруг он не такой, как я, и знает гораздо больше? Вдруг он умеет жить лучше, чище, честнее, вдруг он читает мои скудные мысли? Вдруг...

Люди жарили шашлыки и говорили:

— Ебанет?

— Ебанет.

— Да не должно.

И ебанул. Полил страшный дождь, с холодными, как покойник, каплями.

Я лежал на бетоне и вспоминал, как она ела мандарины. Катя умела жить так, чтобы ближний запомнил. Ближним, к несчастью, был я.

Одеваться умела и смотреть тоже, глазами раненой суки. Умение надеть какую-то вещь, максимально не развратную, но так, чтобы при этом было невыносимо больно от невозможности снять.

Ее туловище было совершенно. Совершенно и для меня. Она не забывала напоминать об этом. Стояла с утра у окна, все они стоят у окна. Наверное, потому, что кровать у окна. И тянулась восьмеркой, синусом. Она рано

вставала, при этом практически не принуждала вставать с ней, просто лежи наблюдай, и я наблюдал. В этом было что-то от кормления младенцев грудью, общедоступно, потому что второй этаж, и крайне нежно. Ее русые деревенские волосы раскидывались по лопатки, кудрявились чутка, но в меру. Потом ела яблоки. Иногда лица тетя меняются от степени оголенности, у нее не менялось. Она ела мандарин с таким же лицом, с каким сидела на тебе и держалась за плечи.

Утро пятнадцатого октября прошлого года, я испуганный, с похмелья, еду с цветами на «Бульвар Рокоссовского», в зубах бессмысленные пионы, наверное. Пишу ей:

— Выйди, пожалуйста.

Она выходит зареванная, с Верой, собакой. Муж объелся груш. Даю ей эти цветы.

— Ну не надо. Это совсем уже по-скотски.

— Цветы тоже по-скотски? — выбрасываю. — Да, все по-скотски, Катя. Плакать во время ебли — скотство. Жить тут так и унижаться каждую секунду, чтобы прожить еще одну — скотство. Унизительно все — почему именно это унижение тебя смутило? Сосался с дурой какой-то, ни в чем не виноватой, на балконе. Ты каждый момент гребаной жизни переступаешь через себя и свои принципы. Переступи и сейчас. Ты не сказочная принцесса, я не сказочный принц, мы оба...

— Нет, ты один. Не нравится, как я живу, — забери с собой, люби и потом поговорим.

Я один, и правда. В Печальниках.

Долго мы еще будем разговаривать, интересно? Наверное, бесконечно. Столько, чтобы нам обоим хватило

на всю жизнь. Мы наговорим друг другу бесконечное множество слов, таких слов, которыми можно выметать пыль, таких слов, которыми можно накрыться, как одеялом, и таких слов, от которых вскрывается горло, оттуда ком и катится далеко, до самого горизонта, жуком-навозником погоняемый.

Дождь заканчивался, и бил колокол, завтра, видимо, понедельник.

Мне хотелось бы зайти в монастырь. И ведь нет никакого смысла в хождении к Богу, если Бога для тебя давно нет. Когда-то он был.

Я говорил с ним.

В нашем городе не было церквей, которые стучали по утрам и вечерам в эту железную бандуру, потому я, маленький, молился по гудкам машин. Мы спали, ели, ходили в душ, разговаривали об учебе и работе, коллекционировали документы и медицинские карточки на восьмом этаже около полуживой дороги; и ночью, начиная где-то с нулей до часу, их становилось значительно меньше, я отсчитывал почему-то двенадцать гудков и шел тихо, по паркету, креститься по-детски, боясь ошибиться, бубнить «Отче наш».

И единственный поп, которого я помню, — это пьющий батюшка Алексей на «девятке», с животом таким византийским и голосом как у старшины. Мы с ним не говорили ни о чем, но я любил его чуть-чуть, насколько мог.

Сейчас мне, видимо, надо идти туда, где Катя разглядывала фрески, в широких штанах и в чепчике, высоко задирая голову. Когда глаза ее, как долька мандарина, втыкали на верхний ряд алтаря, зрочки цвета болота ка-

сались верхнего века, она что-то думала, или сквозняк в ее голове превращал лицо Катина, и так не особо жизнерадостное, в печальную Мать Марию, что ровно так же под тем же углом глядела на распятого Христа.

Я стою у тех же фресок, там та же бабулька в припадке долбит головой о мрамор, тот же самый голос безэмоционально талдычит «аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя».

С меня течет дождь, тихо стучит по полу, вместе с бабушкой молится за меня. Я чувствую, как страшно хочется есть и как урчит живот.

Попы проходят мимо, окучивая кадилом всякого, меня тоже.

И мы все здесь за этим — и старушки, и тот мужик с кепкой в руке и ступнями на ширине плеч. Такая мужицкая стойка, которая как у вспотевших каторжан, — он снимает головной убор, волосы дыбятся и воняют сажей, скорее всего, чем-то проще, но мне хочется думать, что сажей, — вот он стоит и смотрит куда-то сквозь алтарь, алтарную стену, сквозь попа, мимо кадила, и неясно, где останавливается его взгляд, на первой школьной любви или в голове ветродуй, что тушит все свечи, и лучше молчать и креститься, иногда пришептывая «аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Такой взгляд был у моего папы в Каире, когда он твердо решил опереться на камень желаний.

Домой. Хотя тут, в Москве, ни у кого нет дома, все приежжие, даже если родились здесь. Мне непонятно, что нужно сделать, чтобы чувствовать себя своим. Пить.

Домой — в свою комнату на «Пролетарской». Обнаружил, что мои соседки совершенно забыли, что я существую, и очень удивились, когда я с лицом голодной псины стоял в проходе и по-прежнему обсыхал.

Я жил с девушками по имени Маша и толстая Люся, она настолько большая, что все ее действия потешны. А с Машей мы по синьке спим.

— Где ты был? — не помню, кто это спросил.

— Я был дельфином, — говорю. — Сначала Сокольники-ки-ки-ки, потом Печатники-ки-ки-ки.

— Печальники, — говорит Люся и хлюпает густым бульоном. — Выглядишь хайпово... смачно, я бы сказала.

Маша молчит и пьет кофе. Она что-то типа творческой личности, или по-нашему, по-пролетарски, безработная.

— Мне безудержно нужно что-то захомячить, иначе желудок откажет, и вы будете наблюдать забавную картину.

— Могу предложить макароны с сыром.

В какой-то момент вся еда стала похожа на твердый понос с укропом, и я не понял в какой. В угоду питательности мы утратили всякий эстетический посыл пищи, хотя на тех кухнях, где готовится такая еда, можно красиво только жрать водку с луком и яйцом и повеситься, если потолка хватит.

Люся обильно залила кетчупом макароны с каким-то фаршем и сыром, Маша смотрела на меня с укоризной. Как убедить себя в том, что я ей ни хера не должен? Наверное, никак.

— Мы идем пить сегодня, на Чистые, — вдруг сказала Маша, — ты с нами?

— Вряд ли. Я три дня ахуевал и... — тут я задумался, — и ахуевал. Плюс завтра на работу.

— Ну вкусненько, с кайфом, — сказала Люся и, как Арлекино из песенки Пугачевой, расхохоталась. Ее огромные квадратные сиськи тряслись, а в голове юная и кра-

сива рыжеволосая Алла бегала туда-сюда по площади Революции и, видимо, рыскала в поиске камня желаний.

Маша все еще сверлила мое опухшее, наверно, лицо взглядом, и в маленьких азиатских глазенках было что-то вроде собачьей верности. Но она как ягненок, беспечный агнец, которого злой первопоп и онанист ведет на какое-то очень взрослое заклятие, где ничего не изменится, если долго и влюбленно пялить в человека.

— Ну что ты? Мне ком в горло не лезет. Что ты смотришь, как раненый Чон-Гук?

— Где ты был?

— Какая разница?

— Ну тебе сложно сказать, где ты был?

— Я три дня трахался и сморкался в сухие салфетки, мне страшно хорошо от этого факта. Можно я доем?

Поехать бы в Каир, встать около камня да знать, чего мне надобно, это что-то ясное и достигаемое. Быть должным кому-то приятному — высшее благо, видимо.